

Мужики

Лакей при московской гостинице Славянский Базар, Николай Чикильдеев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела, и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, в деревню. Дома и хворать легче, и жить дешевле; и недаром говорится: дома стены помогают.

Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным, теперь же, войдя в избу, он даже испугался: так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол-избы, темную от копоти и мух. Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги это вместо картин. Бедность, бедность! Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогач белая кошка.

Кис, кис! поманила ее Саша. Кис!

Она у нас не слышит, сказала девочка. Оглохла.

Отчего?

Так. Побили.

Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего не сказали друг другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Их изба была третья с краю и казалась самою бедною, самою старою на вид; вторая не лучше, зато у крайней железная крыша и занавески на окнах. Эта изба, неогороженная стояла особняком и в ней был трактир. Избы шли в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид.

За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обрывистый, так что в глине, там и сям, обнажились громадные камни. По скату, около этих камней и ям, вырытых гончарами, вились тропинки, целыми кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный, на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкий луг, стадо, длинные

вереницы белых гусей, потом так же, как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавою церковью и немного поодаль господский дом.

Хорошо у вас здесь! сказала Ольга, крестясь на церковь. Раздолье, господи! Как раз в это время ударили ко всенощной (был канун воскресенья). Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись на церковь, чтобы послушать звон.

Об эту пору в Славянском Базаре обеда... проговорил Николай мечтательно. Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо-чистом, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село, с блеяньем и ревом прошло стадо, прилетели с той стороны гуси, и все смолкло, тихий свет погас в воздухе и стала быстро надвигаться вечерняя темнота.

Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы невестки, Марья и Фекла, работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было шестеро детей, у Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, двое; и когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и маленькие тела, которые шевелились на полатах, в люльках и во всех углах, и когда увидел, с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег да еще с семьей, напрасно!

А где брат Кирьяк? спросил он, когда поздоровались.

У купца в сторожах живет, ответил отец, в лесу. Мужик бы ничего, да заливает шибко.

Не добычик! проговорила старуха слезливо. Мужики наши горькие, не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная.

По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный все о нужде да о болезнях. Но не успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный пьяный крик: Ма-арья!

Похоже, Кирьяк идет, сказал старик, легок на помине.

Все притихли. И немного погодя, опять тот же крик, грубый и протяжный, точно из-под земли:

Ма-арья!

Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой женщины

выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала.

А ты чего, холера? крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах. Небось, не убьет!

От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком и что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел и бил ее без пощады.

Ма-арья! раздался крик у самой двери.

Вступитесь Христа ради, родименькие, залепетала Марья, дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду, вступитесь, родименькие...

Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий чернобородый мужик в зимней шапке и оттого, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука, ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь.

Экой срам-то, срам, бормотал старик, полезая на печь, при гостях-то! Грех какой!

А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала; Фекла качала люльку... Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее, но в это время вдруг увидел гостей и остановился.

А, приехали... проговорил он, выпуская жену. Родной братец с семейством... Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные, красные глаза, и продолжал:

Братец с семейством приехали в родительский дом... из Москвы, значит.

Первопрестольный, значит, град Москва, мать городов... Извините...

Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка, при общем молчании... Выпил чашек десять, потом склонился на скамью и захрапел.

Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи со стариком; Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.

И-и, касатка, говорила она, ложась на сене рядом с Марьей, слезами горю не поможешь! Терпи и все тут. В писании сказано: аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую... И-и, касатка!

Потом она вполголоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах.

А в Москве дома большие, каменные, говорила она, церквей много-много, сорок сороков, касатка, а в домах всё господа, да такие красивые, да такие

приличные!

Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе; она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже Отче наш. Она и другая невестка, Фекла, которая теперь сидела поодаль и слушала, обе были крайне неразвиты и ничего не могли понять. Обе не любили своих мужей; Марья боялась Кирьяка, и когда он оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала, так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фекла, на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой:

А ну его!

Поговорили и затихли...

Было прохладно, и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый, утренний свет уже пробивался во все щели, Фекла потихоньку встала и вышла, и потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами.

Ольга пошла в церковь и взяла с собою Марью. Когда они спускались по тропинке к лугу, обеим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого, родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб, река была пасмурна, бродил туман кое-где, но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света, церковь сияла, и в господском саду неистово кричали грачи.

Старик ничего, рассказывала Марья, а бабка строгая, дерется все. Своего хлеба хватило до масленой, покупаем муку в трактире, ну, она серчает; много, говорит, едите.

И-и, касатка! Терпи и все тут. Сказано: приидите все труждающие и обремененные.

Ольга говорила степенно, нараспев, и походка у нее была, как у богомолки, быстрая и суетливая. Она каждый день читала евангелие, читала вслух, по-дьячковски, и многого не понимала, но святые слова трогали ее до слез, и такие слова, как аще и дондеже, она произносила со сладким замиранием сердца. Она верила в бога, в божью мать, в угодников; верила, что нельзя обижать никого на свете ни простых людей, ни немцев, ни цыган, ни евреев, и что горе даже тем, кто не жалеет животных; верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она произносила слова из писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось жалостливым, умиленным и светлым. Ты откуда родом? спросила Марья.

Я владимирская. А только я взята в Москву уже давно, восьми годочков.

Подошли к реке. На той стороне у самой воды стояла какая-то женщина и раздевалась.

Это наша Фекла, узнала Марья, за реку на барский двор ходила. К приказчикам. Озорная и ругательная страсть!

Фекла, чернобровая, с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и застучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны.

Озорная страсть! повторила Марья.

Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой, прозрачной воде, ходили стаи широколобых голавлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься! Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспомнилось все вчерашнее и очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение.

Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше. И сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в девятом часу. Так и стояла все время.

Когда читали евангелие, народ вдруг задвигался, давая дорогу помещичьей семье; вошли две девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними полный, розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало Ольгу; она с первого взгляда решила, что это порядочные, образованные и красивые люди. Марья же глядела на них исподлобья, угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если бы она не посторонилась.

А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик: Ма-арья! и она вздрагивала.

В деревне узнали о приезде гостей, и уже после обедни в избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и Матвеичевы, и Ильичовы узнать про своих родственников, служивших в Москве. Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву и отдавали там только в официанты и коридорные (как из села, что по ту сторону, отдавали только в булочники), и так повелось давно, еще в крепостное право, когда какой-то Лука Иваныч, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, служивший буфетчиком в одном из московских клубов, принимал к себе на службу только своих земляков, а эти, входя в силу, выписывали своих родственников и определяли их в трактиры и рестораны; и с того времени деревня Жуково иначе уже не называлась у окрестных жителей, как Хамская или Холуевка. Николая отвезли в Москву, когда ему было одиннадцать лет, и определял его на место Иван

Макарыч, из семьи Матвейчевых, служивший тогда капельдинером в саду Эрмитаж. И теперь, обращаясь к Матвейчевым, Николай говорил наставительно:

Иван Макарыч мой благодетель, и я обязан за него бога молить денно и ночью, так как я через него стал хорошим человеком.

Батюшка ты мой, проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча, и ничего про них, голубчика, не слышать.

Зимой служил он у Омона, а в нынешний сезон, был слух, где-то за городом, в садах... Постарел! Прежде, случалось, летним делом, приносил домой рублей по десять в день, а теперь повсеместно дела стали тихие, мается старичок.

Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо и говорили печально:

Не добычик ты, Николай Осипыч, не добычик! Где уж!

И все ласкали Сашу. Ей уже минуло десять лет, но она была мала ростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет семь, не больше. Среди других девочек, загоревших, дурно стриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими, темными глазами, с красной ленточкой в волосах, казалась забавною, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу.

Она у меня и читать может! похвалилась Ольга, нежно глядя на свою дочь.

Почитай, детка! сказала она, доставая из узла евангелие. Ты почитай, а православные послушают.

Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете, с захватанными краями, и от него запахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко, нараспев:

Отшедшим же им, се ангел господень... во сне явился Иосифу, глаголя: встав поими отроча и мать его...

Отроча и мать его, повторила Ольга и вся покраснелась от волнения.

И бежи во Египет... и буди тамо, дондеже реку ти...

При слове дондеже Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился, чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. И когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей.

По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки, все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама; сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила на полдень и потом роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идут задами на ее огород, и

она выбегала из избы с длинной палкой и потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама; то ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие.

Со своим стариком она обращалась не ласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный мужик, и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи да разговаривал. Он подолгу рассказывал сыну про каких-то своих врагов, жаловался на обиды, которые он будто бы терпел каждый день от соседей, и было скучно его слушать.

Да, рассказывал он, взявшись за бока. Да... После Воздвижения через неделю продал я сено по тридцать копеек за пуд, добровольно... Да... Хорошо... Только это, значит, везу я утром сено добровольно, никого не трогаю; в недобрый час, гляжу выходит из трактира староста Антип Седельников. Куда везешь, такой-сякой? и меня по уху.

А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом.

Водка-то что делает. Ах, ты, боже мой! бормотал он, встряхивая своею больною головой. Уж вы, братец и сестрица, простите Христа ради, сам не рад. По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной головки. В полдень все сели пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку, все из одного горшка. А селедку бабка спрятала.

Вечером гончар на обрыве жег горшки. Внизу на лугу девушки водили хоровод и пели. Играли на гармонике. И на заречной стороне тоже горела одна печь и пели девушки, и издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики; они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила:

Ах, батюшки!..

Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно и что громче и дольше всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели.

Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире всё еще гуляли. Старик и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья.

Оставь, убеждал старик, оставь... Она баба смирная... Грех...

Ма-арья! крикнул Кирьяк.

Оставь... Грех... Она баба ничего.

Оба постояли с минуту около сарая и пошли.

Лю-эблю я цветы полевые-и! запел вдруг старик высоким, пронзительным тенором. Лю-эблю по лугам собирать!

Потом сплюнул, нехорошо выбранился и пошел в избу.

Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Был жаркий августовский день. Гуси трактирщика могли пробраться к огороду задами, но они теперь были заняты делом, подбирали овес около трактира, мирно разговаривая, и только гусак поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идет ли старуха с палкой; другие гуси могли прийти снизу, но эти теперь паслись далеко за рекой, протянувшись по лугу длинной белой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась и, видя, что гуси не идут, отошла к обрыву.

Там она увидела старшую дочь Марьи, Мотьку, которая стояла неподвижно на громадном камне и глядела на церковь. Марья рожала тринадцать раз, но осталось у нее только шестеро и все девочки, ни одного мальчика, и старшей было восемь лет. Мотька, босая, в длинной рубаше, стояла на припеке, солнце жгло ей прямо в темя, но она не замечала этого и точно окаменела. Саша стала с нею рядом и сказала, глядя на церковь:

В церкви бог живет. У людей горят лампы да свечи, а у бога лампадки красненькие, зелененькие, синенькие, как глазочки. Ночью бог ходит по церкви, и с ним пресвятая богородица и Николай-угодничек туп, туп, туп... А сторожу страшно, страшно! И-и, касатка, добавила она, подражая своей матери. А когда будет светопредставление, то все церкви унесутся на небо. С ко-ло-ко-ла-ми? спросила Мотька басом, растягивая каждый слог. С колоколами. А когда светопредставление, добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо, касатка. Моей маме и тоже Марье бог скажет: вы никого не обижали и за это идите направо, в рай; а Кирьяку и бабке скажет: а вы идите налево, в огонь. И кто скоромное ел, того тоже в огонь.

Она посмотрела вверх на небо, широко раскрыв глаза, и сказала:

Гляди на небо, не мигай, ангелов видать.

Мотька тоже стала смотреть на небо, и минута прошла в молчании.

Видишь? спросила Саша.

Не видать, проговорила Мотька басом.

А я вижу. Маленькие ангелочки летают по небу и крылышками мельк, мельк, будто комарики.

Мотька подумала немного, глядя в землю, и спросила:

Бабка будет гореть?

Будет, касатка.

От камня до самого низа шел ровный, отлогий скат, покрытый мягкой зеленою травой, которую хотелось рукой потрогать или полежать на ней.

Саша легла и скатилась вниз. Мотька с серьезным, строгим лицом, отдуваясь, тоже легла и скатилась, и при этом у нее рубаха задралась до плеч.

Как мне стало смешно! сказала Саша в восторге.

Они обе пошли наверх, чтобы скатиться еще раз, но в это время слышался знакомый визгливый голос. О, как это ужасно! Бабка, беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развевались по ветру, длинною палкой гнала от огорода гусей и кричала:

Всю капусту потолкли, окаянные, чтоб вам переколеть, трижды анафемы, язвы, нет на вас погибели!

Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, как рогульки, стала ее сечь. Саша плакала от боли и страха, а в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу и вытянув шею, подошел к старухе и прошипел что-то, и когда он вернулся к своему стаду, то все гусыни одобрительно приветствовали его: го-го-го! Потом бабка принялась сечь Мотьку, и при этом у Мотьки опять задралась рубаха. Испытывая отчаяние, громко плача, Саша пошла к избе, чтобы пожаловаться; за нею шла Мотька, которая тоже плакала, но басом, не вытирая слез, и лицо ее было уже так мокро, как будто она обмакнула его в воду.

Батюшки мои! изумилась Ольга, когда обе они вошли в избу. Царица небесная!

Саша начала рассказывать, и в это время с пронзительным криком и с бранью вошла бабка, рассердилась Фекла, и в избе стало шумно.

Ничего, ничего! утешала Ольга, бледная, расстроенная, глядя Сашу по голове. Она бабушка, на нее грех сердиться. Ничего, детка.

Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи ноги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери:

Вы не можете ее бить! Вы не имеете никакого полного права ее бить!

Ну, околеваешь там на печке, ледащий! крикнула на него Фекла со злобой.

Принесла вас сюда нелегкая, дармоедов!

И Саша, и Мотька, и все девочки, сколько их было, забились на печи в угол, за спиной Николая, и оттуда слушали все это молча, со страхом, и слышно было, как стучали их маленькие сердца. Когда в семье есть больной, который болеет уже давно и безнадежно, то бывают такие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине души желают его смерти; и только одни дети боятся

смерти родного человека и при мысли о ней всегда испытывают ужас. И теперь девочки, притаив дыхание, с печальным выражением на лицах, смотрели на Николая и думали о том, что он скоро умрет, и им хотелось плакать и сказать ему что-нибудь ласковое, жалостное.

Он прижимался к Ольге, точно ища у нее защиты, и говорил ей тихо, дрожащим голосом:

Оля, милая, не могу я больше тут. Силы моей нет. Ради бога, ради Христа небесного, напиши ты своей сестрице Клавдии Абрамовне, пусть продает и закладывает все, что есть у ней, пусть высылает денег, мы уедем отсюда. О, господи, продолжал он с тоской, хоть бы одним глазом на Москву взглянуть! Хоть бы она приснилась мне, матушка!

А когда наступил вечер и в избе потемнело, то стало так тоскливо, что трудно было выговорить слово. Сердитая бабка намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час. Марья, подоив корову, принесла ведро с молоком и поставила на скамью; потом бабка переливала из ведра в кувшины, тоже долго, не спеша, видимо довольная, что теперь, в Успеньев пост, никто не станет есть молока и оно все останется цело. И только немножко чуть-чуть, она отлила в блюдечко для ребенка Феклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребницу, Мотька вдруг встрепенулась, сползла с печи и, подойдя к скамье, где стояла деревянная чашка с корками, плеснула в нее молока из блюдечка.

Бабка, вернувшись в избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрели на нее, и им было приятно, что она оскоромилась и теперь уж наверное пойдет в ад. Они утешились и легли спать, и Саша, засыпая, воображала страшный суд: горела большая печь, вроде гончарной, и нечистый дух с рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинною палкой, как давеча она сама гнала гусей.

На Успенье, в одиннадцатом часу вечера, девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, вдруг подняли крик и визг и побежали по направлению к деревне; и те, которые сидели наверху, на краю обрыва, в первую минуту никак не могли понять, отчего это.

Пожар! Пожар! раздался внизу отчаянный крик. Горим!

Те, которые сидели наверху, оглянулись, и им представилась страшная, необыкновенная картина. На одной из крайних изб, на соломенной крыше стоял огненный, в сажень вышиною, столб, который клубился и сыпал от себя во все стороны искры, точно фонтан бил. И тотчас же загорелась вся крыша ярким пламенем и слышался треск огня.

Свет луны померк, и уже вся деревня была охвачена красным, дрожащим светом; по земле ходили черные тени, пахло гарью; и те, которые бежали

снизу, все запыхались, не могли говорить от дрожи, толкались, падали и, с непривычки к яркому свету, плохо видели и не узнавали друг друга. Было страшно. Особенно было страшно то, что над огнем, в дыму, летали голуби и в трактире, где еще не знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике, как ни в чем не бывало.

Дядя Семен горит! крикнул кто-то громким, грубым голосом.

Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожар был далеко, на другом краю; вышел Николай в валенках, повыбежали дети в рубашонках. Около избы десятского забили в чугунную доску. Бем, бем, бем... понеслось по воздуху, и от этого частого, неугомонного звона щемило за сердце и становилось холодно. Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, кадки. Вороной жеребец, которого не пускали в табун, так как он лягал и ранил лошадей, пущенный на волю, топоча, со ржаньем, пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами. Зазвонили и на той стороне, в церкви.

Около горевшей избы было жарко и так светло, что на земле видна была отчетливо каждая травка. На одном из сундуков, которые успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову глубоко, до ушей, в пиджаке; его жена лежала лицом вниз, в забытьи, и стонала. Какой-то старик лет восьмидесяти, низенький, с большою бородой, похожий на гнома, не здешний, но, очевидно, причастный к пожару, ходил возле, без шапки, с белым узелком в руках; в лысине его отсвечивал огонь. Староста Антип Седельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с топором и вышиб окна, одно за другим неизвестно для чего, потом стал рубить крыльцо.

Бабы, воды! кричал он. Машину пода-ва-ай! Поворачивайся!

Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное выражение и слезы на глазах.

Девки, воды! кричал староста, тоже пьяный. Поворачивайся, девки!

Бабы и девки бегали вниз, где был ключ, и таскали на гору полные ведра и ушаты и, вылив в машину, опять убегали. Таскали воду и Ольга, и Марья, и Саша, и Мотька. Качали воду бабы и мальчишки, кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в окна, задерживал пальцем струю, отчего она шипела еще резче.

Молодец, Антип! слышались одобрительные голоса. Старайся!

А Антип лез в сени, в огонь и кричал оттуда:

Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастного происшествия!

Мужики стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сено, сарай, кучи сухого хвороста. Стояли тут и Кирьяк, и старик Осип, его отец, оба навеселе. И, как бы желая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежащей на земле:

Чего, кума, колотиться! Изба заштрафована чего тебе!

Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал, отчего загорелось: Этот самый старичок, с узелком-то, генерала Жукова дворовый... У нашего генерала, царство небесное, в поварах был. Приходит вечером: пусти, говорит, ночевать... Ну, выпили по стаканчику, известно... Баба заходилась около самовара старичка чаем попоить, да не в добрый час заставила самовар в сених, огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому, оно и того. Чуть сами не сгорели. И шапка у старика сгорела, грех такой.

А в чугунную доску били без устали и часто звонили в церкви за рекой. Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то наверх. Ей казалось, что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша... А когда в избе с шумом рухнул потолок, то от мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня, она ослабела и уже не могла таскать воду, а сидела на обрыве, поставив возле себя ведра; рядом и ниже сидели бабы и голосили, как по покойнике.

Но вот с той стороны, из господской усадьбы, приехали на двух подводах приказчики и работники и привезли с собою пожарную машину. Приехал верхом студент в белом кителе нараспашку, очень молодой. Застучали топорами, подставили к горевшему срубам лестницу и полезли по ней сразу пять человек, и впереди всех студент, который был красен и кричал резким, охрипшим голосом и таким тоном, как будто тушение пожаров было для него привычным делом. Разбирали избу по бревнам; растащили хлев, плетень и ближайший стог.

Не давайте ломать! раздались в толпе строгие голоса. Не давай!

Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы желая помешать приезжим ломать, но один из рабочих повернул его назад и ударил по шее. Послышался смех, работник еще раз ударил, Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад в толпу.

Пришли с той стороны две красивые девушки в шляпках должно быть, сестры студента. Они стояли поодаль и смотрели на пожар. Растасканные бревна уже не горели, но сильно дымили; студент, работая кишкой, направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду.

Жорж! кричали ему девушки укоризненно и с тревогой. Жорж!

Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметили, что уже рассвет, что все бледны, немножко смуглы, это всегда так кажется в ранние утра, когда на небе гаснут последние звезды. Расходясь, мужики смеялись и подшучивали над поваром генерала Жукова и над шапкой, которая сгорела; им уже хотелось разыграть пожар в шутку и как будто даже было жаль, что пожар так скоро кончился.

Вы, барин, хорошо тушили, сказала Ольга студенту. Вас бы к нам, в Москву: там, почитай, каждый день пожар.

А вы разве из Москвы? спросила одна из барышень.

Точно так. Мой муж служил в Славянском Базаре-с. А это моя дочь, указала она на Сашу, которая озябла и жалась к ней. Тоже московская-с.

Обе барышни сказали что-то по-французски студенту, и тот подал Саше двугривенный. Старик Осип видел это, и на лице у него вдруг засветилась надежда.

Благодарить бога, ваше высокоблагородие, ветра не было, сказал он, обращаясь к студенту, а то бы погорели в одночасье. Ваше высокоблагородие, господа хорошие, добавил он конфузливо, тоном ниже, заря холодная, погреться бы... на полбутылочки с вашей милости.

Ему ничего не дали, и он, крикнув, поплелся домой. Ольга потом стояла на краю и смотрела, как обе повозки переезжали реку бродом, как по лугу шли господа; их на той стороне ожидал экипаж. А придя в избу, она рассказывала мужу с восхищением:

Да такие хорошие! Да такие красивые! А барышни как херувимчики. Чтоб их розорвало! проговорила сонная Фекла со злобой.

Марья считала себя несчастною и говорила, что ей очень хочется умереть; Фекле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: и бедность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ела, что давали, не разбирая; спала, где и на чем придется; помои выливала у самого крыльца: выплеснет с порога да еще пройдет босыми ногами по луже. И она с первого же дня возненавидела Ольгу и Николая именно за то, что им не нравилась эта жизнь.

Погляжу, что вы тут будете есть, дворяне московские! говорила она с злорадством. Погляжу-у!

Однажды утром это было уже в начале сентября Фекла принесла снизу два ведра воды, розовая от холода, здоровая, красивая; в это время Марья и Ольга сидели за столом и пили чай.

Чай да сахар! проговорила Фекла насмешливо. Барыни какие, добавила она, ставя ведра, моду себе взяли каждый день чай пить. Гляди-кось, не раздуло бы вас с чаю-то! продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу. Нагуляла в

Москве пухлую морду, толстомясая!

Она замахнулась коромыслом и ударила Ольгу по плечу, так что обе невестки только всплеснули руками и проговорили:

Ах, батюшки.

Потом Фекла пошла на реку мыть белье и всю дорогу бранилась так громко, что было слышно в избе.

Прошел день. Наступил длинный осенний вечер. В избе мотали шелк; мотали все, кроме Феклы: она ушла за реку. Шелк брали с ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на нем немного копеек двадцать в неделю.

При господах лучше было, говорил старик, мотая шелк. И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша. Огурцов и капусты было вволю: ешь добровольно, сколько душа хочет. И строгости было больше. Всякий себя помнил.

Светила только одна лампочка, которая горела тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет. Старик Осип рассказывал, не спеша, про то, как жили до воли, как в этих самых местах, где теперь живет так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, с псковичами, и во время облав мужиков поили водкой, как в Москву ходили целые обозы с битой птицей для молодых господ, как злых наказывали розгами или ссылали в тверскую вотчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказала кое-что. Она все помнила, решительно все. Она рассказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой муж был кутила и развратник и у которой все дочери повыходили замуж бог знает как: одна вышла за пьяницу, другая за мещанина, третью увезли тайно (сама бабка, которая была тогда девушкой, помогала увозить), и все они скоро умерли с горя, как и их мать. И вспомнив об этом, бабка даже всплакнула.

Вдруг кто-то постучал в дверь, и все вздрогнули.

Дядя Осип, пусти ночевать!

Вошел маленький лысый старичок, повар генерала Жукова, тот самый, у которого сгорела шапка. Он присел, послушал и тоже стал вспоминать и рассказывать разные истории. Николай, сидя на печи, свесив ноги, слушал и спрашивал все о кушаньях, какие готовили при господах. Говорили о битках, котлетах, разных супах, соусах, и повар, который тоже все хорошо помнил, называл кушанья, каких нет теперь; было, например, кушанье, которое приготавлилось из бычьих глаз и называлось по утру проснувшись.

А котлеты марешаль тогда делали? спросил Николай.

Нет.

Николай укоризненно покачал головой и сказал:

Эх вы, горе-повара!

Девочки, сидя и лежа на печи, глядели вниз, не мигая; казалось, что их было очень много точно херувимы в облаках. Рассказы им нравились; они вздыхали, вздрагивали и бледнели то от восторга, то от страха, а бабу, которая рассказывала интереснее всех, они слушали не дыша, боясь пошевелиться. Ложились спать молча; и старики, потревоженные рассказами, взволнованные, думали о том, как хороша молодость, после которой, какая бы она ни была, остается в воспоминаниях одно только живое, радостное, трогательное, и как страшна, холодна эта смерть, которая не за горами, лучше о ней и не думать! Лампочка потухла. И потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминали почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никак... Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку и сна нет, тело такое, точно отлежал его, и лезут в голову всё мысли о смерти; повернулся на другой бок о смерти уже забыл, но в голове бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах, о том, что мука вздоржала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ее...

О, господи! вздохнул повар.

Кто-то тихо-тихо постучал в окошко. Должно быть, Фекла вернулась. Ольга встала и, зевая, шепча молитву, отперла дверь, потом в сенях вынула засов. Но никто не входил, только с улицы повеяло холодом и стало вдруг светло от луны. В открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и самую луну, которая плыла по небу.

Кто тут? окликнула Ольга.

Я, слышался ответ. Это я.

Около двери, прижавшись к стене, стояла Фекла, совершенно нагая. Она дрожала от холода, стучала зубами и при ярком свете луны казалась очень бледною, красивою и странною. Тени на ней и блеск луны на коже как-то резко бросались в глаза, и особенно отчетливо обозначались ее темные брови и молодая, крепкая грудь.

На той стороне озорники раздели, пустили так... проговорила она. Домой без одежды шла... в чем мать родила. Принеси одеться.

Да ты в избу иди! тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать.

Старики бы не увидели.

В самом деле, бабка уже беспокоилась и ворчала, и старик спрашивал: Кто там? Ольга принесла свою рубаху и юбку, одела Феклу, и потом обе тихо, стараясь не стучать дверями, вошли в избу.

Это ты, гладкая? сердито проворчала бабка, догадавшись, кто это. У, чтоб тебя, полунощница... нет на тебя погибели!

Ничего, ничего, шептала Ольга, кутая Феклу, ничего касатка.

Опять стало тихо. В избе всегда плохо спали; каждому мешало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое: старику боль в спине, бабке заботы и злость, Марье страх, детям чесотка и голод. И теперь тоже сон был тревожный: поворачивались с боку на бок, бредили, вставали напиться. Фекла вдруг заревела громко, грубым голосом, но тотчас же сдержала себя и изредка всхлипывала, все тише и глуше, пока не смолкла. Временами с той стороны, из-за реки, доносился бой часов; но часы били как-то странно: пробили пять, потом три.

О, господи! вздыхал повар.

Глядя на окна, трудно было понять: все ли еще светит луна или это уже рассвет. Марья поднялась и вышла, и слышно было, как она на дворе доила корову и говорила: Сто-ой! Вышла и бабка. Было еще темно в избе, но уже стали видны все предметы.

Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фрак, надел его и, подойдя к окну, погладил рукава, подержался за фалдочки и улыбнулся. Потом осторожно снял фрак, спрятал в сундук и опять лег.

Марья вернулась и стала топить печь. Она, по-видимому, еще не совсем очнулась от сна и теперь просыпалась на ходу. Ей, вероятно, приснилось что-нибудь или пришли на память вчерашние рассказы, так как она сладко потянулась перед печью и сказала:

Нет, воля лучше!

Приехал барин так в деревне называли станового пристава. О том, когда и зачем он приедет, было известно за неделю. В Жукове было только сорок дворов, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше двух тысяч. Становой остановился в трактире; он выкушал тут два стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиков. Староста Антип Седельников, несмотря на молодость, ему было только 30 лет с небольшим, был строг и всегда держал сторону начальства, хотя сам был беден и платил подати неисправно. Видимо, его забавляло, что он староста, и нравилось сознание власти, которую он иначе не умел проявлять, как строгостью. На сходе его боялись и слушались; случалось, на улице или около трактира он вдруг налетал на пьяного, связывал ему руки назад и сажал в арестантскую; раз даже посадил в арестантскую бабку за то, что она, придя на сход вместо Осипа, стала браниться, и продержал ее там целые сутки. В городе он не жила и книг никогда не читал, но откуда-то набрался разных умных слов и любил употреблять их в разговоре, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали.

Когда Осип со своею оброчною книжкой вошел в избу старосты, становой, худощавый старик с длинными седыми бакенами, в серой тужурке, сидел за столом в переднем углу и что-то записывал. В избе было чисто, все стены пестрели от картин, вырезанных из журналов, и на самом видном месте около икон висел портрет Баттенберга, бывшего болгарского князя. Возле стола, скрестив руки, стоял Антип Седельников.

За им, ваше высокоблагородие, 119 рублей, сказал он, когда очередь дошла до Осипа. Перед Святой как дал рубль, так с того время ни копейки.

Пристав поднял глаза на Осипа и спросил:

Почему же это, братец?

Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, начал Осип, волнуясь, дозвоьте сказать, летошний год люторецкий барин: Осип, говорит, продай сено... Ты, говорит, продай. Отчего ж? Было у меня пудов сто для продажи, на лоску бабы накосили... Ну, сторговались... Все хорошо, добровольно...

Он жаловался на старосту и то и дело оборачивался к мужикам, как бы приглашая их в свидетели; лицо у него покраснело и вспотело, и глаза стали острые, злые.

Я не понимаю, зачем ты это все говоришь, сказал пристав. Я спрашиваю тебе... я тебе спрашиваю, отчего ты не платишь недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечай?

Мочи моей нету!

Слова эти без последствия, ваше высокоблагородие, сказал староста.

Действительно, Чикильдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих, причина вся водка, и озорники очень. Без всякого понимания.

Пристав записал что-то и сказал Осипу покойно, ровным тоном, точно просил воды:

Пошел вон.

Скоро он уехал; и когда он садился в свой дешевый тарантас и кашлял, то даже по выражению его длинной худой спины видно было, что он уже не помнил ни об Осипе, ни о старосте, ни о жуковских недоимках, а думал о чем-то своем собственном. Не успел он отъехать и одну версту, как Антип Седельников уже выносил из избы Чикильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь:

Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!

Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гналась за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая; платок у нее сполз на плечи, седые, с зеленоватым отливом волосы развевались по ветру. Она вдруг остановилась и, как настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом, и как бы рыдая:

Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитесь!

Бабка, бабка, сказал строго староста, имей рассудок в своей голове!

Без самовара в избе Чикильдеевых стало совсем скучно. Было что-то унижительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала, и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понуро и молчал. И Николай молчал. Бабка любила и жалела его, но теперь забыла жалость, набросилась на него вдруг с бранью, с попреками, тыча ему кулаками под самое лицо. Она кричала, что это он виноват во всем; в самом деле, почему он присылал так мало, когда сам же в письмах хвалился, что добывал в Славянском Базаре по 50 рублей в месяц? Зачем он сюда приехал, да еще с семьей? Если умрет, то на какие деньги его хоронить?.. И было жалко смотреть на Николая, Ольгу и Сашу.

Старик крикнул, взял шапку и пошел к старосте. Уже темнело. Антип Седельников паял что-то около печи, надувая щеки; было угарно. Дети его, тощие, неумытые, не лучше чикильдеевских, возились на полу; некрасивая, весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная, убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров. Старик помолился на Баттенберга и сказал:

Антип, яви божескую милость, отдай самовар! Христа ради!

Принеси три рубля, тогда и получишь.

Мочи моей нету!

Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав:

Отдай!

Смуглый староста казался уже совсем черным и походил на колдуна; он обернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро:

От земского начальника все зависящее. В административном заседании двадцать шестого числа можешь заявить повод к своему неудовольствию словесно или на бумаге.

Осип ничего не понял, но удовлетворился этим и пошел домой.

Дней через десять опять приезжал становой, побыл с час и уехал. В те дни погода стояла ветреная, холодная; река давно уже замерзла, а снега все не было, и люди замучились без дороги. Как-то в праздник перед вечером соседи зашли к Осипу посидеть, потолковать. Говорили в темноте, так как работать было грех и огня не зажигали. Были кое-какие новости, довольно неприятные.

Так, в двух-трех домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление, и там они поколели, так как их никто не кормил; забрали овец и, пока везли их, связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос: кто виноват?

Земство! говорил Осип. Кто ж!

Известно, земство.

Земство обвиняли во всем и в недоимках, и в притеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что значит земство. И это пошло с тех пор, как богатые мужики, имеющие свои фабрики, лавки и постоянные дворы, побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство.

Поговорили о том, что бог не дает снега: возить дрова надо, а по кочкам ни ездить, ни ходить. Прежде, лет 1520 назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. Тогда у каждого старика был такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал; говорили о грамоте с золотою печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; теперь же у жуковцев не было никаких тайн, вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о том, что нет снега...

Помолчали. И опять вспомнили про кур и овец, и стали решать, кто виноват. Земство! проговорил уныло Осип. Кто ж!

Приходская церковь была в шести верстах, в Косогорове, и в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать; молиться же ходили за реку. В праздники, в хорошую погоду, девушки наряжались и уходили толпой к обедне, и было весело смотреть, как они в своих красных, желтых и зеленых платьях шли через луг; в дурную же погоду все сидели дома. Говели в приходе. С тех, кто в Великом посту не успевал отговориться, батюшка на Святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек. Старик не верил в бога, потому что почти никогда не думал о нем; он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чудесном и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь:

А кто ж его знает!

Бабка верила, но как-то тускло; все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы перехватывали ее мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала:

Казанской божьей матери, Смоленской божьей матери, Троеручицы божьей

матери...

Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше вы.

Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была рассеянна и, пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и только, когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя:

Бог милости прислал!

То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвижение пили. На Покров в Жукове был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чикильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть.

Кирыак все три дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно.

Впрочем, и в Жукове, в этой Холуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили Живоносную. В тот день, когда ее ожидали в Жукове, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка... И старик, и бабка, и Кирыак все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:

Заступница, матушка! Заступница!

Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжелой, невыносимой нужды, от страшной водки.

Заступница, матушка! рыдала Марья. Матушка!

Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять слышались из трактира грубые, пьяные голоса.

Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в бога и в спасение души, и лишь из страха перед концом земным, на всякий случай, ставили свечи и служили молебны. Мужики же

победнее не боялись смерти. Старику и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фекле, что когда Николай умрет, то ее мужу, Денису, выйдет льгота вернут со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети.

Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом. Довольно было пустяка расстройства желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась и начинала стонать громко и непрерывно: Умира-а-ю! Старик спешил за священником, и бабку приобщали и соборовали. Очень часто говорили о простуде, о глистах, о желваках, которые ходят в животе и подкатывают к сердцу. Больше всего боялись простуды и потому даже летом одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не 70, а 58 лет; она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей впору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трех девочек, и возвращалась вечером, голодная и сердитая, с каплями для себя и с мазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели две принимал капли и говорил, что ему стало легче.

Бабка знала всех докторов, фельдшеров и знахарей на тридцать верст кругом, и ни один ей не нравился. На Покров, когда священник обходил с крестом избы, дьячок сказал ей, что в городе около острога живет старичок, бывший военный фельдшер, который лечит очень хорошо, и посоветовал ей обратиться к нему. Бабка послушалась. Когда выпал первый снег, она съездила в город и привезла старичка, бородатого, длиннополого выкреста, у которого все лицо было покрыто синими жилками. Как раз в это время в избе работали поденщики: старик портной в страшных очках кроил из лохмотьев жилетку, и два молодых парня валяли из шерсти валенки; Кирьяк, которого уволили за пьянство и который жил теперь дома, сидел рядом с портным и починял хомут. И в избе было тесно, душно и смрадно. Выкрест осмотрел Николая и сказал, что необходимо поставить банки.

Он ставил банки, а старик портной, Кирьяк и девочки стояли и смотрели, и им казалось, что они видят, как из Николая выходит болезнь. И Николай тоже смотрел, как банки, присосавшись к груди, мало-помалу наполнялись темною кровью, и чувствовал, что из него в самом деле как будто что-то выходит, и улыбался от удовольствия.

Оно хорошо, говорил портной. Дай бог, чтоб на пользу.

Выкрест поставил двенадцать банок и потом еще двенадцать, напился чаю и уехал. Николай стал дрожать; лицо у него осунулось и, как говорили бабы,

сжалось в кулачок; пальцы посинели. Он кутался и в одеяло, и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал; просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер.

О, какая суровая, какая длинная зима!

Уже с Рождества не было своего хлеба и муку покупали. Кирьяк, живший теперь дома, шумел по вечерам, наводя ужас на всех, а по утрам мучился от головной боли и стыда, и на него было жалко смотреть. В хлеву день и ночь раздавалось мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у бабки и Марьи. И, как нарочно, морозы все время стояли трескучие, навалило высокие сугробы; и зима затянулась: на Благовещение задувала настоящая зимняя вьюга, а на Святой шел снег.

Но, как бы ни было, зима кончилась. В начале апреля стояли теплые дни и морозные ночи, зима не уступала, но один теплый денек пересилил наконец и потекли ручьи, запели птицы. Весь луг и кусты около реки утонули в вешних водах, и между Жуковым и тою стороной все пространство сплошь было уже занято громадным заливом, на котором там и сям вспархивали стаями дикие утки. Весенний закат, пламенный, с пышными облаками, каждый вечер давал что-нибудь необыкновенное, новое, невероятное, именно то самое, чему не веришь потом, когда эти же краски и эти же облака видишь на картине. Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собою. Стоя на краю обрыва, Ольга подолгу смотрела на разлив, на солнце, на светлую, точно помолодевшую церковь, и слезы текли у нее и дыхание захватывало оттого, что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край света. А уж было решено, что она пойдет опять в Москву, в горничные, и с нею отправится Кирьяк наниматься в дворники или куда-нибудь. Ах, скорее бы уйти!

Когда подсохло и стало тепло, собрались в путь. Ольга и Саша, с котомками на спинах, обе в лаптях, вышли чуть свет; вышла и Марья, чтобы проводить их. Кирьяк был нездоров, задержался дома еще на неделю. Ольга в последний раз помолилась на церковь, думая о своем муже, и не заплакала, только лицо у нее поморщилось и стало некрасивым, как у старухи. За зиму она похудела, подурнела, немного поседела, и уже вместо прежней миловидности и приятной улыбки на лице у нее было покорное, печальное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде, точно она не слышала. Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками. Она вспоминала о том, как несли Николая и около каждой избы заказывали панихиду и как все плакали, сочувствуя ее горю. В течение лета и зимы бывали такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов,

жить с ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, нечестны, нетрезвы и сами бранятся так же отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит ты и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкий, приниженный вид был у стариков, когда зимою водили Кирьяка наказывать розгами... И теперь ей было жаль всех этих людей, больно, и она, пока шла, все оглядывалась на избы. Проводив версты три, Марья простилась, потом стала на колени и заголосила, припадая лицом к земле:

Опять я одна осталась, бедная моя головушка, бедная-несчастливая...

И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому-то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи.

Солнце поднялось высоко, стало жарко. Жуково осталось далеко позади. Идти было в охотку, Ольга и Саша скоро забыли и про деревню, и про Марью, им было весело, и все развлекало их. То курган, то ряд телеграфных столбов, которые друг за другом идут неизвестно куда, исчезая на горизонте, и проволоки гудят таинственно; то виден вдаль хуторок, весь в зелени, потягивает от него влагой и коноплей, и кажется почему-то, что там живут счастливые люди; то лошадиный скелет, одиноко белеющий в поле. А жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела; и дергач кричит так, будто в самом деле кто-то дергает за старую железную скобу. В полдень Ольга и Саша пришли в большое село. Тут на широкой улице встретился им повар генерала Жукова, старичок. Ему было жарко, и потная, красная лысина его сияла на солнце. Он и Ольга не узнали друг друга, потом оглянулись в одно время, узнали и, не сказав ни слова, пошли дальше каждый своею дорогой. Остановившись около избы, которая казалась побогаче и новее, перед открытыми окнами, Ольга поклонилась и сказала громко,

тонким, певучим голосом:

Православные христиане, подайте милостыню Христа ради, что милость ваша, родителям вашим царство небесное, вечный покой.

Православные христиане, запела Саша, подайте Христа ради, что милость ваша, царство небесное...